

Нет автора

Журнал «Огонек»

№28, 1954

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-94
ББК 63.3-8
Н57

Нет автора

Н57 Журнал «Огонек»: №28, 1954 / Нет автора – М.: Книга по Требованию, 2024. – 44 с.

ISBN 978-5-458-70089-4

«Огонёк» — российский и советский общественно-политический и литературно-художественный иллюстрированный еженедельный журнал. С 1923 года выходит в Москве. Первый номер журнала вышел в свет 9 декабря (21 декабря по новому стилю) 1899 года как еженедельное иллюстрированное литературно-художественное приложение к газете «Биржевые ведомости», издателя Станислава Проппера. В 1918 году выпуск журнала прекратился и был возобновлен стараниями Михаила Кольцова в 1923 году. До 1940 года — выходило 36 номеров в год, с 1940 года — еженедельник. В советское время журнал выпускался издательством «Правда», в котором, как приложение к журналу с 1946 года, также выходила «Библиотека „Огонька“» — собрания сочинений отечественных и зарубежных классиков.

ISBN 978-5-458-70089-4

© Издание на русском языке, оформление
«УОУО Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

питывали» гимназистов, даже много лет спустя вспоминались Чехову. Он писал Д. В. Григоровичу о своих снах:

«Все до бесконечности сурово, уныло и сыро. Когда же я бегу от реки, то встречаю на пути обвалившиеся ворота кладбища, похороны, своих гимназических учителей...»

Теперь в этом же здании одна из лучших школ города — средняя школа имени А. П. Чехова. В мрачные дни немецкой оккупации фашисты превратили школу в гестаповский застенок, а при отступлении разграбили и разрушили ее. Но таганрогские трудящиеся свято чтут память своего великого земляка. В короткий срок восстановили они школу, и теперь в ней звучат опять голоса 1200 девочек и мальчиков.

Ученики гордятся своей школой и любят ее. Во втором этаже, в той комнате, где учился А. П. Чехов, общественностью города создан школьный музей. В нем около двух тысяч экспонатов, рисующих детство и гимназические годы Чехова и отражающих жизнь школы почти за 150 лет.

На раз отмечалось, что у Чехова было к своему городу отношение сложное. «Не люблю таганрогских вкусов, не выношу и, кажется, бежал бы от них за тридевять земель». А с другой стороны: «Я счастлив, что могу хотя чем-нибудь быть полезен родному городу, которому я многим обязан и к которому продолжаю питать теплое чувство». Конечно, никакого противоречия в этом нет. Чехов любил свой родной город, но не любил его буржуазно-мещанский уклад. Как писал А. М. Горький, «пошлость всегда находила в нем жестокого и строгого судью». Именно любовью к родному городу объясняется, что Чехов особенно придирчиво отмечал все его недостатки, отмечал для того, чтобы вытравить их. До последнего года своей жизни Чехов неустанно заботился о благоустройстве Таганрога, об организации там культурно-просветительных учреждений. Одним из замечательных свидетельств этой заботы является общегородская библиотека, носящая имя Антона Павловича. Собственно, она существовала тут еще в юношеские годы Чехова, но что это была за

библиотека! Тесная комнатка и сложенные в ней 2150 книг и журналов. Где бы ни был Чехов — в Москве или Мелikhове, в Ницце или Париже, — он отовсюду посылал в Таганрог книги. Чтобы положить начало иностранному отделению библиотеки, Антон Павлович купил произведения большинства французских классических писателей и отправил книги в Таганрог. Чехов передал также в таганрогскую библиотеку свыше 700 экземпляров книг из личной библиотеки, с автографами своих современников и с собственными автографами.

Он с радостью поддержал мысль П. Ф. Иорданова о постройке особого здания для библиотеки, обещая в этом деле свое самое горячее участие. К сожалению, Чехов не увидел этого здания, одного из красивейших в городе: оно было построено уже после смерти писателя по проекту его друга архитектора Ф. О. Шехтеля.

В библиотеке теперь свыше 130 тысяч книг. За один только 1953 год она получила книг больше, чем за все 40 лет своего дореволюционного существования. Надо ли говорить, что теперь это не единственная библиотека в городе: здесь около 200 библиотек с книжным фондом в миллион восемьдесят тысяч экземпляров. Только детская библиотека имени А. М. Горького имеет 55 тысяч книг и свыше 10 тысяч читателей.

В 1896 году Антон Павлович начал свои хлопоты по созданию в Таганроге музея. Хлопотал он неустанно. Из Ниццы писатель общался в Таганрог: «...в Париже я виделся с Павловским и с уроженцем Таганрога проф. Беллюлюбским, инженером: был разговор о библиотеке, о будущем музее — и оба обещали много хорошего». В другом письме, из Парижа, Чехов спешит уведомить Иорданова: «...получил от Антокольского для нашего будущего музея «Последний вздох», овал из гипса, верх совершенства в художественном отношении. Обращался Чехов и к И. Е. Репину и ко многим другим. Чехову принадлежит разработка первого тематического плана музея, плана, имевшего явно краеведческий характер.

Из Парижа Чехов писал: «Бываю



Средняя школа имени А. П. Чехова. В этом здании помещалась классическая гимназия, где Антон Павлович учился с 1868 по 1879 год.



Улица А. П. Чехова в нынешнем Таганроге.

здесь у Антокольского и оба толкуем насчет памятника Петру Великому в Таганроге. Фотография с его великолепной статуи уже послана Иорданову. После долгих хлопот статуя была закончена и отлита. Чехов советовал поставить ее на берегу моря. «Около моря, — писал он, — это будет и живописно, и величественно, и торжественно, не говоря уже о том, что статуя изображает настоящего Петра, и при том Великого, гениального, полного великих дум, сильного». Тогда этому совету Чехова не вняли: монумент был установлен на главной улице города. И только в советское время он был по решению горсовета перенесен на морской бульвар, где ему и надлежало стоять.

Благодарный своему великому земляку, Таганрог создал ему прекрасный памятник — Литературный музей А. П. Чехова. Музей был открыт в 1935 году в «шехтелевском» здании, и с тех пор не превращается паломничество в него со всех концов страны. Он дает богатый материал и для библиографа и для исследователя жизни и творчества писателя. А рядовой посетитель свои чувства выразил в книге записей в таких словах: «Уходишь из музея, и в душе возникает желание отбросить все наносное, ненужное, что и сейчас встречается в



Так выглядела Полтавская улица — ныне улица А. П. Чехова.

жизни. Число экспонатов растет с каждым днем. Много поступает книг Чехова, изданных за границей: из Китая, Кореи, Ирана, Турции, Франции и других стран.

Устами одного из персонажей «Трех сестер» Чехов высказывал твердую уверенность, что «через какие-нибудь 25—30 лет работать будет уже каждый человек». То, что ожидал Чехов, сбылось и в Таганроге, как сбылось оно после Октябрьской революции во всей нашей необъятной стране. Давно уже нет «ленивого» Таганрога с его тунядцами и сонными обы-



Артисты Таганрогского государственного театра имени А. П. Чехова готовят спектакль «Чайка». На сцене: чинят пьесы.

ЧЕХОВ И ЩЕДРИН

В 1889 году умер Салтыков-Щедрин. Последние годы его жизни были мучительно тяжелы. Он называл себя «брошенным» писателем, болезненно переживал почти полное свое идейное одиночество, горько жаловался на безмолвие и бездейственность редкого «читателя-друга».

Реакционная печать с благочестивым видом клеветала над свежей могилой. Либеральная словословилла Щедрина за неустанную борьбу против крепостничества, помпадуров, Угрюм-Бурчевых, но, разумеется, обходила молчанием его борьбу против либерализма.

В этом разноголосом хоре резко выделяется отзыв молодого Чехова. «...Мне жаль Салтыкова,— писал он А. Н. Плещееву.— Это была крепкая, сильная голова. Тот сволочный дух, который живет в малом, измощенничавшемся душевно русском интеллигенте среднего пошиба, потерял в нем своего самого упрямого и назойливого врага. Обличать умеет каждый газетчик, издаваться умеет и Буренин, но открыто презирать умел один только Салтыков. Две трети читателей не любили его, но верили ему все. Никто не сомневался в искренности его презрения».

Слова замечательные, поражающие своей глубиной.

Известно, что Чехов любил Щедрина. Иван Павлович Чехов, брат писателя, вспоминал о том времени, когда Антон Павлович, только что окончивший университет (1884 год), работал в Воскресенске: «...велись либеральные разговоры, увлекались Щедринным».

Увлечение Щедринным у Чехова неотделимо от его глубокого увлечения идеями великой эпохи 60-х годов: материализмом школы Чернышевского, реализмом передовой литературы. Политические взгляды Чехова не отличались определенностью. Но к либералам и к народникам он относился с одинаковой отчужденностью, а материализму и реализму оставался верен всю жизнь.

В 1889 году Чехов в письме полемизировал с Суворинным по поводу романа Бурже «Ученик»: «Если говорить о его недостатках, то главный из них — это претенциозный поход против материалистического направления». Чехов решительно становится на сторону материализма. «Все, что живет на земле,— пишет он,— материалистично по необходимости... Существа высшего порядка, мыслящие люди — материалисты тоже по необходимости. Они ищут истину в материи, ибо искать ее больше им негде... Воспротивить человеку материалистическое направление равносильно запрещению искать истину. Вне материи нет ни опыта, ни знаний, значит, нет истины».

Материализм Чехова — это естественно-научный материализм домарксистского периода в русской философии. Он имел большое прогрессивное значение — в особенности в те годы, когда либеральная литература начала поход против материализма Чернышевского и Добролюбова, когда подвергались поруганию все реалистические традиции.

Чехов верил в близкое торжество материализма. В 1894 году он писал Суворину: «Очень возможно и очень похоже на то, что русские люди опять переживут увлечение естественными науками и опять материалистическое движение будет модным. Естественные науки делают теперь чудеса, и они могут двинуться,



М. И. Левитан.

ПОРТРЕТ А. ЧЕХОВА. 1885—1886 год.

как Мамай, на публику и покорить ее своей массой, грандиозностью...»

Как раз в те годы, когда подросток Антоша Чехов складывался в юношу-студента, а потом становился молодым врачом и начинающим писателем, в 1875—1889 годах, выходили такие сатирические циклы Щедрина, как «Благонамеренные речи», «В среде умеренности и аккуратности», «Современная идиллия», «За рубежом», «Мелочи жизни», «Письма к тетеньке», «Сказки».

Во всех этих сатирических произведениях зло и страстно изобличались либерализм буржуазной интеллигенции, измена революционно-демократическим заветам 60-х годов. Щедрин клеймил ренегатство бывших передовых людей, измельчавшее народничество, приспособление литературы к самодержавно-бюрократическому режиму, развращение печати, адвокатуры, технической интеллигенции на службе у капитализма... Все это и было преследованием «сволочного духа», и именно это отмечал и превыше всего ценил молодой Чехов в старом писателе. Он не мог бы так сде-

лать, если бы и сам не испытывал презрения к опустившейся, измельчавшей, «измощенничавшейся» либеральной интеллигенции. Откуда же это презрение у молодого, только вступающего в жизнь писателя, которого почти все тогда считали веселым, беспечным юмористом?

Однажды А. Н. Плещеев упрекнул Чехова за сатирический образ либерального деятеля в рассказе «Именины». Этот деятель из демократа-шестидесятника превратился в болтливого либерала. Чехов отвечал: «...Он во имя 60-х годов, которых не понимает, брюзжит на настоящего, которого не видит; он клеветает на студентов, на гимназистов, на женщин, на писателей и на все современное, и в этом видит главную суть человека 60-х годов. Он скучен, как яма, и вреден для тех, кто ему верит, как суслик. Шестидесятые годы — это святое время, и позволять глупым сусликам узурпировать его значит ополчать его. Нет, не вычеркну в ни украинифила, ни этого гуся, который мне надоел! Он надоел мне еще в гимназии, надоел и теперь».

Приподнимается краешек занавес над мало нам известной жизнью Чехова — гимназиста и студента. Уже на школьной скамье складывались общественные взгляды и литературные интересы будущего писателя. В эти годы Щедрина был самым ярким представителем «святого времени». Называя так 60-е годы, Чехов, по сути, говорил о Чернышевском и Добролюбове, о Некрасове и Щедринах, как об учителях своей юности.

Талантливым, веселым, неистощимым в юмористических выдумках писателем предстал впервые Чехов перед читателями и критиками своего времени. И никто тогда не заметил, что через многие смешные рассказы проходит сильная сатирическая струя. Миниатюра «Дочь Альбиона» очень смешна. А ведь изображенные в ней помещики как будто сошли прямо с щедринских страниц. Самодур Грябов — это уже знакомый нам по Щедрина Прокон. В 1885 году появляется «Унтер Пришибеев», близкий щедринскому Угрюм-Бурчееву, живой сатирический образ, символизирующий церковно-самодержавие, весь жандармский режим.

В смешной сказке о карасе, который влюбился в дачницу, поцеловал ее в ножку, на крючке потерял губу и впал в глубокий пессимизм, читатель узнает знакомый персонаж. Чеховский карась-пессимист сродни щедринскому карасю-идеалисту.

В рассказе о двух газетчиках названия газет «Начитать вам на голову!», «Иуда предатель» как будто взяты из богатейшей коллекции щедринских газетных названий. Напомним, что официальным редактором газеты «Помощь» у Щедрина является Иуда-Искарот.

Можно назвать еще много юмористических рассказов раннего Чехова, в которых мы находим щедринские по характеру типы («Маска», «На чужбине», «Скука жизни», «В ландшафт»). Вряд ли можно считать только случайным совпадением и то, что своим первым сборником рассказов Чехов дает названия «Пестрые рассказы», «Невинные речи». Ведь незадолго до появления этих сборников вышли «Пестрые письма» и — третьим изданием — «Невинные рассказы» Щедрина.

Однако это не значит, что Чехов подражал Щедрина. Нисколько! Он шел вслед Щедрина как сатирик, продолжая его дело и проклады-

вая в литературе свой собственный, чеховский путь.

Сатира присутствует почти во всех произведениях Чехова. Иногда она подспудна и окрашивает лишь отдельные персонажи чеховских повестей и пьес. Иногда выходит наружу. Учитель греческого языка Беликов — живое, реальное лицо, со всеми чертами современного быта. И вместе с тем это сатирический символ угнетающего мракобесия, общественного и политического тупоумия. «Человек в футляре» — художественно-сатирический образ того же порядка, что и «кративый начальник» Щедрина, что его градоправитель с органичком в голове.

Вопреки давно устаревшим и отвергнутым советской критикой представлениям о Чехове как о «мягкотом» писателе, проникнутом жалостью к отрицательным типам русской дореволюционной действительности, сатира Чехова раскрывает в нем черты боевой направленности и непримиримости.

Своими художественными приемами, отличными от щедринских, Чехов, уже зрелый писатель, разрабатывает ту же, щедринскую тему об отступничестве, падении, ренегатстве буржуазной интеллигенции.

В 1889 году, в том же году, когда Чехов писал Плещееву о «саолочном духе» интеллигенции, изменившей прошлому, создавалась «Скудная история». Это повесть о представителях образованного общества, потерявших «общие идеи», то есть основы демократического мировоззрения. Московский профессор и актриса бродяжат, злословят, клеветают на молодежь, на прогрессивную литературу. Старый ученый, от имени которого ведется рассказ, не выдерживает, гневно вспыхивает и кричит:

— Замолчите, наконец! Что вы сидите тут, как две жабы, и отравляете воздух своими дыханьями! Довольно!

Трагизм повести в том, что терят «общие идеи» и сам старый ученый. Он не видит смысла в жизни. Он, бывший шестидесятник, ничего не может сказать молодежи, на душе у него пусто. Он больше не протестует, когда при нем циничски оплевывают прогрессивные взгляды, передовое движение в литературе, в искусстве. «Доистает» и университет, и студентам, и литературе, и театру; воздуг от зло-

словия становится гуще, душнее, и отравляют его своими дыханьями уже не две жабы, как змью, а целых триа.

В ту же пору складывался у Чехова план большой повести, которая была напечатана позже, в 1893 году, под заглавием «Рассказ неизвестного человека». Герой повести — народник-террорист, разуверившийся в революции, духовно обанкротившийся, измельчавший и жалкий... Та же по сути тема и в основе пьесы «Иванов».

Имя Щедрина нередко встречается в произведениях Чехова. Так, герой повести «Три года» Лаптев думает о своем брате Федоре: «И язык какой-то новый у него: брат, милый брат, бог милости прислал, богу помолимся, — точно щедринский Иудушка».

Щедрина читал и знал Чехова. А. А. Плещеев, сын поэта А. Н. Плещеева, писал Чехову 8 апреля 1888 года: «Был отец у Сельткова, который в восторге от «Степи». — «Это прекрасно», — говорит он отцу и вообще возлагает на вас великие надежды. Отец говорит, что он радю когю хвалит из новых писателей, но от вас в восторге».

Щедрина действительно был скуп на положительные отзывы о произведениях молодых писателей 80-х годов. Но в «Отечественных записках» печаталось все лучшее, написанное молодыми писателями. Великий сатирик обладал исключительным редакторским даром открывать, поддерживать, воспитывать новые литературные таланты. И кто знает, не закрыл ли правительством в 1884 году «Отечественных записок», быть может, первое крупное произведение Чехова появилось бы там, а не в либеральном «Северном вестнике», к которому Антон Павлович относился весьма критически.

Бывая в Петербурге, Чехов встречался с литераторами, близкими к Щедрина. В декабре 1887 года он писал брату, что был у «Михайловского (критиковавшего меня в «Северном Вестнике») и компания Глеба Успенского и Короленько: ели, пили и дружески болтали...»

Можно пожелать о том, что не состоялась личная встреча Чехова с Щедринами. Она могла быть знаменательной. Старый писатель, патриарх русской литературы, узнал бы в молодом писателе своего наследника.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ

<p>藝術集</p> <p>集選說小大河契 译龍法</p>  <p>行刊社版出明季</p>	<p>農民集</p> <p>集選說小大河契 译龍法</p>  <p>行刊社版出明季</p>	<p>新娘集</p> <p>集選說小大河契 译龍法</p>  <p>行刊社版出明季</p>
<p>光亮集</p> <p>集選說小大河契 译龍法</p>  <p>行刊社版出明季</p>	<p>食室集</p> <p>集選說小大河契 译龍法</p>  <p>行刊社版出明季</p>	<p>恐怖集</p> <p>集選說小大河契 译龍法</p>  <p>行刊社版出明季</p>

На китайском языке

Впервые переводы произведений А. П. Чехова появились в Китае более тридцати лет тому назад. В 1921 году была напечатана пьеса «Чайна» в переводе Чжэн Чжень-до. К 1927 году были опубликованы все драматургия и значительная часть рассказов великого русского писателя, но эти издания выходили весьма небольшими тиражами.

Выдающуюся роль в популяризации произведений А. П. Чехова сыграл известный писатель Лу Синь. Он говорил: «Чехов — мой любимый писатель». Лу Синь был не только переводчиком чеховских рассказов, но и блестящим пропагандистом его творческого метода.

В годы войны за освобождение Китая от интервентов большим успехом, по словам Го Мо-мо, пользовался «Вишневый сад». Но лишь с образованием Китайской Народной Республики творчество А. П. Чехова становится подлинным культурным достоянием народов освобожденной страны.

За последние годы в Китайской Народной Республике вышло тщательно и любовно изданное собрание сочинений А. П. Чехова в двадцати томах. На обложке каждого тома — иллюстрация, а на титульном листе — портрет писателя с автографом.

Кроме того, после 1949 года пятым изданием вышли из печати трехтомник избранных произведений писателя и вторым изданием — его «Записные книжки». Издан сборник рассказов в переводе Лу Синя. Трижды выходили в свет горьковские «Воспоминания о Чехове».

П. ЧУМАН



В колхозной степи.

Все мы хорошо помним, какое огромное значение имело для молодого Чехова взволнованное обращение к нему Д. В. Григоровича, писателя, бывшего почти на сорок лет старше Антона Павловича. Письмо это, в котором Григорович горячо приветствовал новый «настоящий талант», сильно содействовало незрелому в Чехова перелому. Он был уже признанным мастером короткого рассказа. Из просто занимательных они внутренне крепки и становились все более значительными, сочетая порою в себе юмористическую трактовку с подлинно трагическим содержанием.

К этому же времени выявилось с полной силой и то отношение автора к своим героям, которое впоследствии стало именоваться «чеховской манерой» письма. За конкретным героем повествования чувствовалось авторское раздумье о судьбе человека вообще. Это необычайно расширяло круг читателей Чехова, ощущавших, как их «лично» задает рассказ о человеческой судьбе едва ли не каждого конкретного персонажа: Чехов о нем говорил и рисовал его, нося в себе порою еще и не вполне осознанные думы о любой человеческой судьбе. Этим объясняется самая «тональность» рассказа.

Герои говорят о многом, о различном, а подо всем этим, или надо всем этим, с читателем ведет беседу автор, и притом почти всегда о том, чего, по собственному его выражению, «не увидишь простым глазом». Любопытно, что выражение это, взятое нами из письма молодого писателя своему брату Николаю Павловичу, Чехов применил даже не к художественному творчеству, а для характеристики воспитанных людей: «Они сострадают не к одним только нищим и кошкам. Они болеют душой и от того, чего не увидишь простым глазом».

Кстати, здесь же мы видим, как артистически тонко и в то же время совершенно естественно и непринужденно Чехов умел сочетать с шуткой серьезную, своеобразно-глубокую мысль, возбуждая у читателя невольное желание постигнуть ее и следовать ей. Мне вспоминается, как один из моих знакомых обмолвился о Чехове такою фразой: «Удивительно, как он каждый раз берет меня мягкой своею лапой».

И, однако, взыскательный к себе молодой писатель не успокаивался на том, чего он уже достиг: «Я имею способность — в этом году не любить того, что написано в прошлом, мне кажется, что в будущем году я буду сильнее, чем теперь».

И еще: «Растягивать неважные сюжеты на большое полотно — скучно, хотя и выгодно. Трогать же большие сюжеты и тратить дорогие мне образы на срочную поденную работу — жалко».

Но приходила пора, и эти образы и сюжеты ложились под его перо. Вскоре Чехов создает свою «Степь», где сливаются воедино и неподкупный реализм жизни и тончайший лиризм и где, более того, автор впускает в свою душу весь мир, оттаяв окутывая его теплым дыханием человеческих чувств.

СТЕПЬ

Иван НОВИКОВ

Чехов не раз в детстве, да и подростком ездил в гости к дедушке этойю самой необъятною степью. Так и теперь, чтобы оживить давние воспоминания, Чехов с повторным наследием окунулся в родные его сердцу степные просторы. С дороги домой он писал: «Плхнет степью и слышно, как поют птицы. Вижу старых приятелей — коршунов, летающих над степью». И еще другой отрывочек из письма: «Вышел ночью из вагона... а на дворе такие чудеса: луна, необозримая степь с курганами и пустыня; тишина гробовая, а вагоны и рельсы резко выделяются из сумерек — кажется, мир вымер. Картина такая, что во веки веков не забудешь».

Мы привели эти отдельные строки из писем Чехова, так как они подтверждают одну очень своеобразную особенность «Степи». Скажем сразу: в этой повести, имеющей подзаголовок «История одной поездки», мы читаем списание не только поездки маленького Егорушки (маленького Антоши), но и описание путешествия взрослого писателя Антона Павловича. Правда, он не едет, как действительно ехал, по железной дороге, но зато он весь в этом давнем путешествии на лошадах. И в самом деле, когда вы читаете «Степь», вы чувствуете полное, невзирая на протекшее время, слияние этих двух существ в знакомых им степных беспредельных просторах.

Указанную особенность можно было бы, пожалуй, считать и «недостатком» произведения, если подойти к ней придирчиво формалистически, на деле же, конечно, совсем наоборот.

Пожалуй, по своеобразию «Степи» не найти ей равной и во всей нашей литературе. Ведь это, казалось бы, — всего лишь путешествие мальчика, которого взял с собой дядя, ехавший продавать шерсть; а мальчика Егорушку он vez определить в гимназию.

Иной фабулы в этой очень большой для Чехова вещи нет. И, однакоже, очарование

ее огромно. От неспешного этого передвижения по июльской выжженной степи нельзя оторваться. Перед Егорушкой медленно разворачивается целый мир новых для него ощущений, пейзажей, людей. И вместе с маленьким путешественником столь же свежо и непосредственно воспринимаем все это и мы, читатели; мир как бы заново открывается нам.

И какой это полный, богатый мир: природа, ее дыхание, несколько как бы однотонное, но переливно-изменчивое; сам мальчик Егорушка, сразу же ставший для нас непостижимым образом близким, своим; спутники мальчика, дядя и отец Христофор; неуловимый Варламов, который «кружит» по степи; множество встречаемых людей, и среди них какие фигуры! Еврей Соломон, гордый и нищий, презирающий деньги и самого миллионера Варламова; Константин, молодой крестьянин лет тридцати, который подошел ночью на огонь и у которого все «увидели прежде всего не лицо, не одежду, а улыбку»: ему не терпелось, он был как хмельной, и его рассказ о любви своей и о женитьбе, рассказ взволнованный, переполненный счастьем, так же, пожалуй, чист и горяч, как и этот костер среди ночи, у которого его слушали вожжики...

А молодая графиня Драницкая, поцеловавшая полусонного Егорушку и оставшаяся таким же полусонным, волшебным видением? «Зачем люди женятся? К чему на этом свете женщины? Егорушка задавал себе неясные вопросы и думал, что мужчине, наверное, хорошо, если возле него постоянно живет ласковая, веселая и красивая женщина. Пришла ему почему-то на память графиня Драницкая, и он подумал, что с такой женщиной, вероятно, очень приятно жить; он, пожалуй, с удовольствием женился бы на ней, если бы это не было так совестно».

И еще многие другие люди, из которых каждый открывает мальчику что-то новое, и среди них особенно выделяется угрюмый озорник и скандалиста Дымова, с которым даже у кроткого Егорушки вышло самое разное столкновение. Замечательна сцена, когда этот человек, носящий в себе непрестанное томление жизни, пришел к племяннику своего хозяина повиниться:

«Дымов стал одной ногой на колесо, взялся за веревку, которой был перевязан тюк, и поднялся. Егорушка увидел его лицо и кудрявую голову. Лицо было бледно, утомленно и серьезно, но уже не выражало злобы.

— Ера! — сказал он тихо. — На, бей! Егорушка с удивлением посмотрел на него; в это время сверкнула молния.

— Ничего, бей! — повторил Дымов. И, не дожидаясь, когда Егорушка будет бить его или говорить с ним, он прыгнул вниз и сказал: — Скушно мне!»

Говоря о «Степи», интересно отметить одну ее особенность: в ней несомненно ощутимо величие манеры Гоголя. Это большая редкость

для Чехова, писателя исключительно своеобразного.

«В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штаб-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, словом, все те, которых называют господами средней руки» («Мертвые души»).

«Из N, уездного города Z-ой губернии, ранним июльским утром выехала и с громом покатилась по почтовому тракту безрессорная ошарпанная бричка, одна из тех допотопных бричек, на которых ездят теперь на Руси только купеческие приказчики, гуртовщики и небогатые священники» («Степь»).

Две эти цитаты говорят сами за себя, и их можно не комментировать.

Но разве удивились бы мы, прочтя не в «Степи», а в «Мертвых душах» и такие, например, строки: «Черная собака с высунутым языком бежит от косарей навстречу к бричке, вероятно, с намерением залаять, но останавливается на полдороге и равнодушно глядит на Дениску, грозящего ей кнутом: жарко лаять! Одна баба поднимается и, взявшись обеими руками за измученную спину, провожает глазами кумачевую рубашку Егорушки. Красный ли цвет ей понравился или вспомнила она про своих детей, только долго стоит она неподвижно и смотрит вслед...»

Или еще такое описание: «По обе стороны этих серых, очень старых ворот тянулся серый забор с широкими щелями; правая часть забора сильно накренилась вперед и грозила падением, левая покосилась назад во двор, ворота же стояли прямо и, казалось, еще выбиралась, куда им удобнее свалиться, вперед или назад».

Особенно следует обратить внимание на те места, которые посвящены восприятию самой степи. Замечательны они тем поистине богатырским дыханием, с каким оба наши классика говорят о России. Видимо, эта русская ширь и именно передвижение по необычным нашим просторам — повелительно-необходимое условие для того художника, который держит охватить свою родину во всем ее многообразии и могучем единстве. (Вспомним, кстати, какое огромное значение имели для Пушкина его путешествия по России.)

Полная самостоятельность Чехова как художника разумеется сама собой. Кроме начала повести, явно параллельного началу «Мертвых душ» и безусловно преднамеренного, вряд ли где и сам Чехов с полной ясностью осознавал наличие некоторых отзвуков Гоголя.

Тут важно другое. Вся наша большая русская литература, невзирая на резко очерченные индивидуальности ее творцов, имела всегда какие-то внутренние соединительные нити, а порою мы видим и открытое «рукопожатие» между художниками, друг от друга совершенно отличными, хотя, впрочем, порою это же приводило и к резкому столкновению: вспомним таковое между Гончаровым и Тургеневым. Недостаток ли это литературы в целом? Ничего: это, напротив, делает всю ее еще весомее, монолитнее, меняя в ряде случаев простой знак плюс на сложный знак умножения. Ибо как бы ни были сами по себе своеобразны отдельные художники, все они неизбежно являются также и выразителями определенной эпохи, и именно это качество и дает столь долгую жизнь их творениям. Литература живет вместе с народом и от него неотрывна.

Что это новая для Чехова манера письма была органически собственной, можно видеть по тому, что мы вдруг ощущаем здесь, пожалуй, впервые с полной силой такого Чехова, который говорит нам о себе как раз именно то, что так трудно переложить на слова прозаические. Вот два коротеньких, но характерных места.

В повести это как бы вовсе не о себе: о коршуне, о тополе, но в том-то и магия искусства, что в этих как бы простых описаниях мы чувствуем нечто глубоко личное, скрытый авторский вздох:

«Летит коршун над самой землей, плавно взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, точно задумавшись о скуке жизни, потом встряхивает крыльями и стрелою несет-



Антон Павлович Чехов и Алексей Максимович Горький с племянником Антона Павловича — Володей. Ялта, 1902 год. Редкая фотография.

ся над степью, и непонятно, зачем он летает и что ему нужно».

«А вот на холме показывается одинокий тополь; кто его посадил и зачем он здесь — бог его знает. От его стройной фигуры и зеленой одежды трудно оторвать глаза. Счастлива ли этот красавец? Летом зной, зимой стужа и метели, осенью страшные ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного, сердито воющего ветра, а главное — всю жизнь один, один...»

Правда, несколько позже Чехов относит образ тополя, в восприятии Егорушки, к облику графини Драницкой, но, конечно, образ этот воспринимается одновременно и значительно шире. Стройности и красоты тополя — да, это графиня, а все остальное — более родственно образу коршуна: это личная дума автора о судьбе одинокого человека (да и о себе самом).

Но не всегда эта дума так безысходно тосклива: «Едва зайдет солнце и землю окутает мгла, как дневная тоска забыта, все прощено, и степь легко вздыхает широко грудью».

Пессимист ли был Чехов или оптимист — об этом спорили много, но, пожалуй, напрасно, ибо Чехов был и такой и иной, но все это равно поныряется тем, что он был худож-

ник. А для подлинного художника даже и тоска — не та подавляющая тоска о житейской безысходности, которая берет человека в свои жестокие клещи: нет, эта тоска, можно сказать, музыкальна, крылата и потому не властвует над художником, а, напротив того, благодаря этому своему изменению ему подчинена. Но послушаем опять-таки самого Чехова:

«...И тогда в трескотне насекомых, в подзвонных фигурах и курганах, в голубом небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни; душа дает отклик прекрасной, суровой родине и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты, в излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспеты и никому не нужные, и сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв: павал! павал!»

И вот вопреки этой безнадежности сам Чехов и стал этим подлинным певцом торжества красоты и страстной жажды жизни.

Неопубликованная фотография

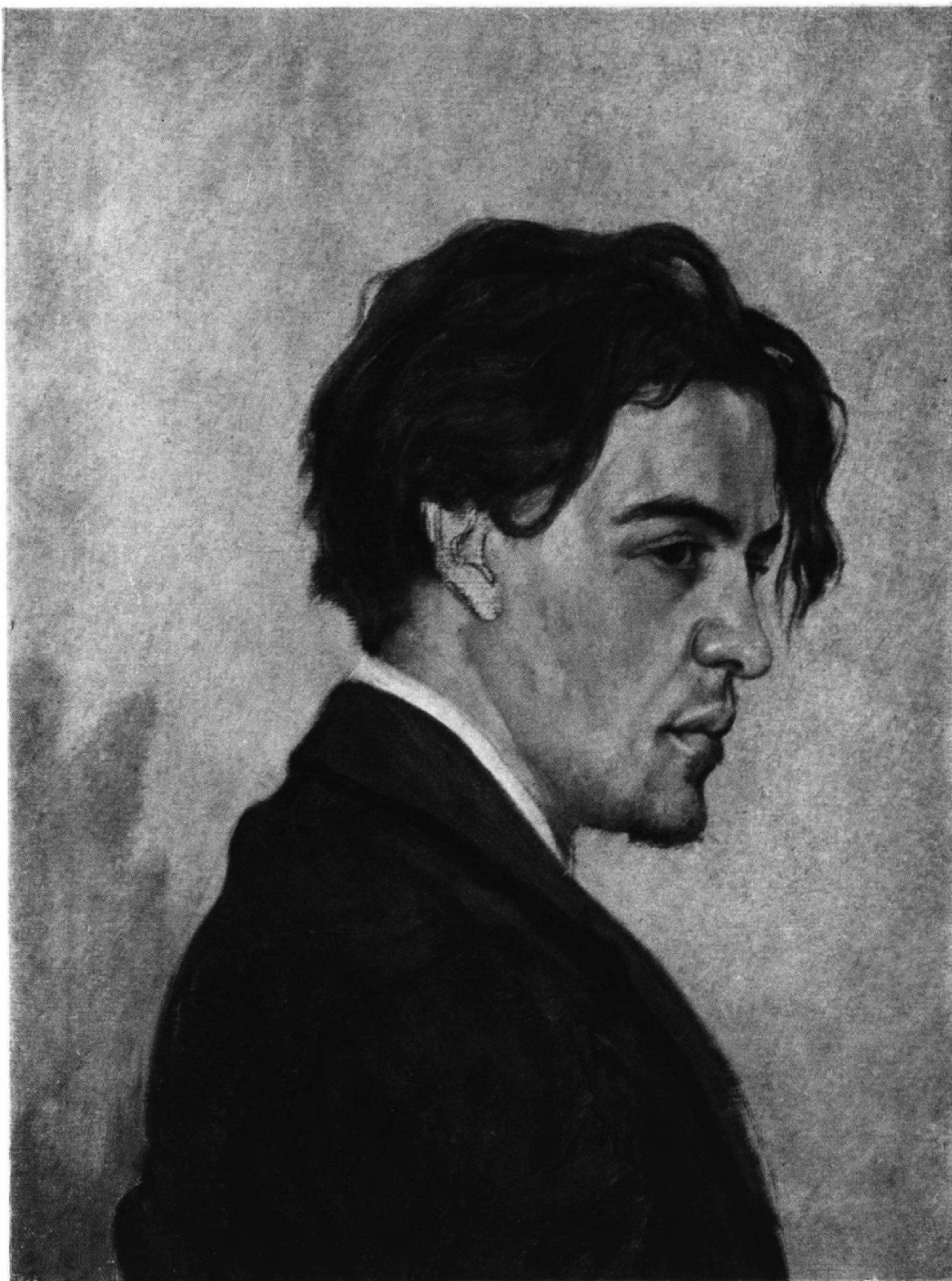
Мой отец, писатель Петр Алексеевич Сергеевич, был товарищем А. П. Чехова по гимназии. Они поддерживали дружеские отношения всю жизнь.

29 сентября (12 октября) 1900 года отец и я, тогда четырнадцатилетний мальчик, навестили Антона Павловича в Ялте на его даче.

У меня был с собою маленький аппарат «Нодди». Мне очень хотелось снять Антона Павловича. Он согласился, спросил, где лучше сниматься: в комнате или на воздухе, — и вообще предложил распорядиться им по своему усмотрению. Я попросил Антона Павловича стать на балконе у перил и уже хотел его снять, когда он сказал моему отцу, что желал бы сняться вместе с ним, потому что одному сниматься как-то неловко. Отец встал с ним рядом, и я наконец сделал снимок, который здесь публикуется впервые.

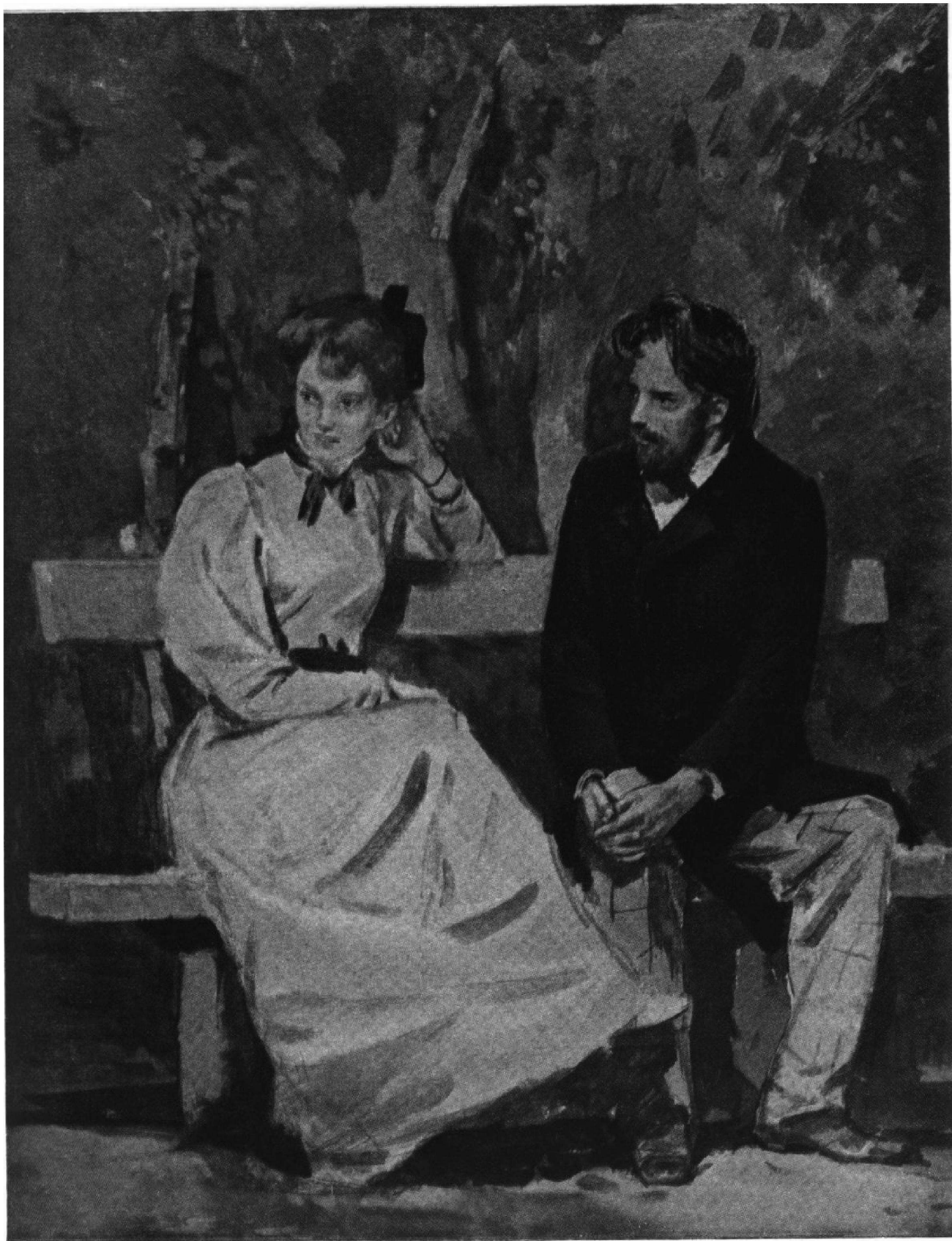
А. СЕРГЕЕНКО





Антон Павлович ЧЕХОВ.

Пезаконченный портрет работы Н. П. Чехова. Москва, начало 80-х годов.



Д. А. Дубинский. Иллюстрация к рассказу А. П. Чехова НЕВЕСТА.

Невеста

Рассказ

Рисунки Д. Дубинского.

1.

Было уже часов десять вечера, и над садом светила полная луна. В доме Шуминых только что кончилась всенощная, которую заказывала бабушка Марфа Михайловна, и теперь Наде — она вышла в сад на минутку — видно было, как в зале накрывали на стол для закуски, как в своем пышном шелковом платье стутилась бабушка; отец Андрей, соборный протоиерей, говорил о чем-то с матерью Нади, Ниной Ивановой, и теперь мать при вечернем освещении сквозь окно почему-то казалась очень молодой; возле стоял сын отца Андрея, Андрей Андреевич, и внимательно слушал.

В саду было тихо, прохладно, и темные, покойные тени лежали на земле. Слышно было, как где-то далеко, очень далеко, должно быть, за городом, кричали лягушки. Чувствовался май, милый май! Дышалось глубоко и хотелось думать, что не здесь, а где-то под небом, над деревьями, далеко за городом, в полях и лесах развернулась теперь своя весенняя жизнь, таинственная, прекрасная, богатая и святая, недоступная пониманию слабого, грешного человека. И хотелось почему-то плакать.

Ей, Наде, было уже 23 года; с 16 лет она страстно мечтала о замужестве, и теперь, наконец, она была невестой Андрея Андреевича, того самого, который стоял за окном; он ей нравился, свадьба была уже назначена на седьмое июля, а между тем радости не было, ночи спала она плохо, веселье пропало... Из подвального этажа, где была кухня, в открытое окно слышно было, как там спешили, как стучали ножами, как хлопали дверью на блоке; пахло жареной индейкой и маринованными вишнями. И почему-то казалось, что так теперь будет всю жизнь, без перемены, без конца!

Вот кто-то вышел из дома и остановился на крыльце: это Александр Тимофеевич, или, попросту, Саша, гость, приехавший из Москвы дней десять назад. Когда-то давно к бабушке хаживала за подаваемым ее дальняя родственница, Марья Петровна, обедневшая дворянка-вдова, маленькая, худенькая, больная. У нее был сын Саша. Почему-то про него говорили, что он прекрасный художник, и, когда у него умерла мать, бабушка, ради спасения души, отправила его в Москву в Комиссаровское училище; года через два перешел он в училище живописи, пробыв здесь чуть ли не пятнадцать лет и окончив по архитектурному отделению, с грехом пополам, но архитектурой все-таки не занимался, а служил в одной из московских литографий. Почти каждое лето приезжал он, обыкновенно очень больной, к бабушке, чтобы отдохнуть и поправиться.

На нем был теперь застегнутый сюртук и поношенные парусиновые ботинки, стоптанные внизу. И сорочка была наглаженная, и весь он имел какой-то несвежий вид. Очень худой, с большими глазами, с длинными, худыми пальцами, бородатый, темный и все-таки красивый. К Шуминым он привык, как к родным, и у них чувствовал себя, как дома. И комната, в которой он жил здесь, называлась уже давно Сашинной комнатой.

Стоя на крыльце, он увидел Надю и пошел к ней.

— Хорошо у вас здесь, — сказал он.

— Конечно, хорошо. Вам бы здесь до осени пожить.

— Да, должно, так придется. Пожалуй, до сентября у вас тут проживу.

Он засмеялся без причины и сел рядом.

— А я вот сижу и смотрю отсюда на маму, — сказала Надя. — Она кажется отсюда такой молодой! У моей мамы, конечно, есть слабости, — добавила она, помолчав, — но все же она необыкновенная женщина.

— Да, хорошая... — согласился Саша. — Ваша мама по-своему, конечно, и очень добрая, и милая женщина, но... как вам сказать? Сегодня утром рано зашел я к вам в кухню, а там четыре прислуги спят прямо на полу, кровати нет, вместо постелей лохмотья, вонь, клопы, тараканы... То же самое, что было двадцать лет назад, никакой перемены. Ну, бабушка, бог с ней, на то она и бабушка; а ведь мама, небось, по-французски говорит, а спектакля участвует. Можно бы, кажется, понимать.

Когда Саша говорил, то вытягивал перед слушателем два длинных, тощих пальца.

— Мне все здесь как-то дико с непривычки, — продолжал он. — Чорт знает, никто ничего не делает. Мамаша целый день только гуляет, как герцогиня какая-нибудь, бабушка тоже ничего не делает, вы — тоже. И жених, Андрей Андреевич, тоже ничего не делает.

Надя слышала это и в прошлом году и, кажется, в позапрошлом, и знала, что Саша иначе рассуждать не может, и это прежде смешило ее, теперь же почему-то ей стало досадно.

— Все это старо и давно надоело, — сказала она и встала. — Вы бы придумали что-нибудь поновее.

Он засмеялся и тоже встал, и оба пошли к дому. Она, высокая, красивая, стройная, казалась теперь рядом с ним очень здоровой и нарядной; она чувствовала это, и ей было жаль его и почему-то неловко.

— И говорите вы много лишнего, — сказала она. — Вот вы только что говорили про моего Андрея, но ведь вы его не знаете.

— Моего Андрея... Бог с ним, с вашим Андреем! Мне вот молодости вашей жалко.

Когда вошли в залу, там уже сидели ужинать. Бабушка, или, как ее называли в доме, бабуля, очень полная, некрасивая, с густыми бровями и с усиками, говорила громко, и уже по ее голосу и манере говорить было заметно, что она здесь старшая в доме. Ей принадлежали торговые ряды на ярмарке и старинный дом с колоннами и садом, но она каждое утро молилась, чтобы бог спас ее от разорения, и при этом плакала. И ее невестка, мать Нади, Нина Ивановна, белокурая, сильно затянута, в рипсе-пэв и с бриллиантами на каждом пальце; и отец Андрей, старик, худощавый, беззубый и с таким выражением, будто собирался рассказать что-то очень смешное; и его сын Андрей Андреевич, жених Нади, полный и красивый, с вьющимися волосами, похожий на артиста или художника, — все трое говорили о гипнотизме.

— Ты у меня в неделю поправишься, — сказала бабуля, обращаясь к Саше, — только вот кушей побольше. И на что ты похож! — вздохнула она. — Страшный ты стал! Вот уж подлинно, как есть, блудный сын.

— Отческого дара расточив богатство, — проговорил отец Андрей медленно, со смеющимися глазами, — с бессмысленными скоты пасохся океаний...

— Люблю я своего батыну, — сказал Андрей Андреевич и потрогал отца за плечо. — Славы старик. Добрый старик.

Все помолчали. Саша вдруг засмеялся и прижал ко рту салфетку.

— Стало быть, вы верите в гипнотизм! — спросил отец Андрей у Нины Ивановны.

— Я не могу, конечно, утверждать, что я верю, — ответила Нина Ивановна, придавая своему лицу очень серьезное, даже строгое выражение, — но должна сознаться, что в природе есть много таинственного и непонятного.

— Совершенно с вами согласен, хотя должен прибавить от себя, что вера значительно сокращает нам область таинственного.

Подали большую, очень жирную индейку. Отец Андрей и Нина Ивановна продолжали свой разговор. У Нины Ивановны блестели бриллианты на пальцах, потом на глазах заблестели слезы, она завоплывалась.

— Хотя я и не смею спорить с вами, — сказала она, — но, согласитесь, в жизни так много неразрешимых загадок!

— Ни одной, смею вас уверить.

После ужина Андрей Андреевич играл на скрипке, а Нина Ивановна аккомпанировала на рояле. Он десять лет назад окончил в университете по филологическому факультету, но нигде не служил, определенного дела не имел и лишь изредка принимал участие в концертах с благотворительною целью; и в городе называли его артистом.

Андрей Андреевич играл; все слушали молча. На столе тихо кипел самовар, и только один Саша пил чай. Потом, когда пробило двенадцать, лопнула вдруг струна на скрипке; все засмеялись, засуетились и стали прощаться.

Проводив жениха, Надя пошла к себе наверх, где жила с матерью (нижний этаж занимала бабушка). Внизу, в зале, стали тушить огни, а Саша все еще сидел и пил чай. Пил он чай всегда подолгу, по-московски, стаканов по семи в один раз. Наде, когда она разделась и легла в постель, долго еще было слышно, как внизу убирала прислуга, как сердилась бабуля. Наконец, все затихло, и только слышалось изредка, как в своей комнате, внизу покашливал басом Саша.

II.

Когда Надя проснулась, было, должно быть, часа два, начинался рассвет. Где-то далеко стучал сторож. Спать не хотелось, лежать было очень мягко, неловко. Надя, как и во все прошлые майские ночи, села в постели и стала думать. А мысли были все те же, что в прошлую ночь, однообразные, ненужные, неотвязные мысли о том, как Андрей Андреевич стал ухаживать за ней и сделал ей предложение, как она согласилась и потом мало-помалу оценила этого доброго, умного человека. Но почему-то теперь, когда до свадьбы осталось не больше месяца, она стала испытывать страх, беспокойство, как будто ожидало ее что-то неопределенное, тяжелое.

«Тик-ток, тик-ток...» — лениво стучал сторож. — Тик-ток...»

В большое старое окно виден сад, дальше кусты густо цветущей сирени, сонной и вялой от холода; и туман, белый, густой, тихо подплывает к сирени, хочет закрыть ее. На далеких деревьях кричат сонные грачи.

— Боже мой, отчего мне так тяжело!

Быть может, то же самое испытывает перед свадьбой каждая невеста. Кто знает! Или тут влияние Саша? Но ведь Саша уже несколько лет подряд говорит все одно и то же, как по писаному, и когда говорит, то кажется навязчивым и странным. Но отчего же все-таки Саша не выходит из головы? Отчего!

Сторож уже давно не стучит. Под окном и в саду зашумели птицы, туман ушел из сада,

все кругом озарилось весенним светом, точно улыбка. Скоро весь сад, согретый солнцем, обласканный, ожил, и капли росы, как алмазы, засверкали на листьях; и старый, давно запущенный сад в это утро казался таким молодым, неярдым.

Уже проснулась бабуля. Закашляла грубым басом Саша. Слышно было, как внизу подвали самовар, как двигали стулья.

Часы идут медленно. Надя давно уже встала и давно уже гуляла в саду, а все еще тянется утро.

Вот Нина Ивановна, заплаканная, со стеклом минеральной воды. Она занималась спиритизмом, гомеопатией, много читала, любила поговорить о сомнениях, которым была подвержена, и все это, казалось Наде, заключало в себе глубокий, таинственный смысл. Теперь Надя поцеловала мать и пошла к ней рядом.

— О чем ты плакала, мама! — спросила она.

— Вчера на ночь стала я читать повесть, в которой описывается один старик и его дочь. Старик служит где-то, ну, и в дочь его влюбился начальник. Я не дочитала, но там есть такое одно место, что трудно было удержаться от слез, — сказала Нина Ивановна и отхлебнула из стакана. — Сегодня утром вспомнила и тоже всплакнула.

— А мне все эти дни так невесело, — сказала Надя, помолчав. — Отчего я не сплю по ночам?

— Не знаю, милая. А когда я не сплю по ночам, то закрываю глаза крепко-крепко, вот так, и рисую себе Анну Каренину, как она ходит и как говорит, или рисую что-нибудь историческое, из древнего мира...

Надя почувствовала, что мать не понимает ее и не может понять. Почувствовала это первый раз в жизни, и ей даже страшно стало, захотелось спрятаться; и она ушла к себе в комнату.

А в два часа сали обедать. Была среда, день постный, и потому бабушке подали постный борщ и лепеша с кашей.

Чтобы подразнить бабушку, Саша ел и свой скромный суп, и постный борщ. Он шутил все время, пока обедали, но шулки у него выходили громоздкие, непременно с расчетом на мораль, и выходило совсем не смешно, когда он перед тем, как сострить, поднимал вверх свои очень длинные, исхудалые, точно мертвые пальцы, и когда приходило на мысль, что он очень болен и, пожалуй, недолго еще протянет на этом свете; тогда становилось жаль его до слез.

После обеда бабушка ушла к себе в комнату отдыхать. Нина Ивановна надолго поиграла на рояле и потом тоже ушла.

— Ах, милая Надя, — начал Саша свой обычный послеобеденный разговор, — если бы вы послушались меня! если бы!

Она сидела глубоко в старинном кресле, закрыла глаза, а он тихо ходил по комнате, из угла в угол.

— Если бы вы поехали учиться! — говорил он. — Только просвещенные и святые люди интересны, только они и нужны. Ведь чем больше будет таких людей, тем скорее наступит царство божие на земле. От вашего города тогда мало-помалу не останется камня на камне, — все полетит вверх дном, все изменится, точно по волшебству. И будут тогда здесь громадные, великолепнейшие дома, чудесные сады, фонтаны необыкновенные, замечательные люди... Но главное не это. Главное то, что толпы в нашем смысле, в каком она есть теперь, этого зла тогда не будет, потому что каждый человек будет воровать и каждый будет знать, для чего он живет, и ни один не будет искать опоры в толпе. Милая, голубушка, поезжайте! Покажите всем, что эта неподдающаяся, серая, грязная жизнь надоела вам. Покажите это хоть себе самой!

— Нелзя, Саша. Я выхожу замуж.

— Э, полно! Кому это нужно!

Вышли в сад, прошлись немного.

— И как же там ни было, милая моя, надо вдуматься, надо понять, как нечисто, как безразлична эта ваша праздная жизнь, — продолжал Саша. — Поймите же, ведь если, например, вы и ваша мать, и ваша бабушка ничего не делаете, то, значит, за вас работает кто-то другой, вы заедаете чью-то чужую жизнь, а разве это чисто, не грязно?

Надя хотела сказать: «да, это правда»; хотела сказать, что она понимает; но слезы по-

казались у нее на глазах, она вдруг притихла, жалась вся и ушла к себе.

Перед вечером приходил Андрей Андренч и по обыкновению долго играл на скрипке. Вообще он был неразговорчив и любил скрипку, быть может, потому, что во время игры можно было молчать. В одиннадцатом часу, уходя домой, уже в пальто, он обнял Надю и стал жадно целовать ее лицо, плечи, руки.

— Дорогая, милая моя, прекрасная! — бормотал он. — О, как я счастлив! Я безумствую от восторга!

И ей казалось, что это она уже давно слышала, очень давно, или читала где-то... в романе, в старом, оборванном, давно уже заброшенном.

В зале Саша сидел у стола и пил чай, поставив блюдечко на свои длинные пальцы: бабуля раскладывала пьесы, Нина Ивановна читала. Трещал огонек в лампаде, и все, казалось, было тихо, благополучно. Надя простилась и пошла к себе наверх, легла и тотчас же уснула. Но, как и в прошлую ночь, едва забрезжил свет, она уже проснулась. Спать не хотелось, на душе было неспокойно, тяжело. Она сидела, положила голову на колени, и думала о женике, о свадьбе... Вспомнила она почему-то, что ее мать не любила своего покойного мужа и теперь ничего не имела, жила в полной зависимости от своей сестры, бабули. И Надя, как ни думала, не могла соорудить, почему до сих пор она видела в своей матери что-то особенное, необыкновенное, почему не замечала простой, обыкновенной, несчастной женщины.

И Саша не спал внизу, — слышно было, как он кашлял. Это странный, нервный человек, думала Надя, и в его мечтах, во всех этих чудесных садах, фонтанах необыкновенных чувствуется что-то нелепое; но почему-то в его нежности, даже в этой нелепости столько прекрасного, что едва она только вот подумала о том, не поехать ли ей учиться, как все сердце, всю грудь обдало холодком, залило чувством радости, восторга.

— Но лучше не думать, лучше не думать! — шептала она. — Не надо думать об этом.

«Тик-ток...» — стучал сторож где-то далеко. — Тик-ток... тик-ток...»

III.

Саша в середине июня стал вдруг скучать и засобирался в Москву.

— Не могу я жить в этом городе, — говорил он мрачно. — Ни водопровода, ни канализации! Я есть за обедом брезгаю: в кухне грязь невозможнейшая...

— Да погоди, блудный сын! — убеждала бабушка почему-то шопотом: — седьмого числа свадьба!

— Не желаю.

— Хотел ведь у нас до сентября прожить! — А теперь вот не желаю. Мне работать нужно!

Лето выдалось сырое и холодное, деревья были мокрые, все в саду глядело неприглядно, уныло, хотелось в самом деле работать. В комнатах, внизу и наверху, слышались незнакомые женские голоса, стучала у бабушки швейная машина: это спешили с приданым. Одних шуб за Надей давали шесть, и самая дешевая из них, по словам бабушки, стоила триста рублей! Суета раздражала Сашу; он сидел у себя в комнате и сердился; но все же его уговорили остаться, и он дал слово, что уедет первого июля, не раньше.

Время шло быстро. На Петров день после обеда Андрей Андренч пошел с Надей на Московскую улицу, чтобы еще раз осмотреть дом, который наняли и давно уже приготовили для молодых. Дом двухэтажный, но убран был пока только верхний этаж. В зале блестящий пол, выкрашенный под паркет, венские стулья, рояль, топир для скрипки. Пахло краской. На стене в золотой раме висела большая картина, написанная красками: нагая женщина и около нее лиловая ваза с отбитой ручкой.

— Чудесная картина, — проговорил Андрей Андренч и из уважения вздохнул. — Это художника Шиншмачевского.

Дальше была гостиная с круглым столом, диваном и креслами, обитыми яркоголубой материей. Над диваном большой фотографический портрет отца Андрея в камиллаке и в ордене. Потом вошли в столовую с буфетом, потом в спальню; здесь в полумраке стояли

рядом две кровати, и похоже было, что когда обставляли спальню, то имели в виду, что всегда тут будет очень хорошо и иначе быть не может. Андрей Андренч водил Надю по комнатам и все время держал ее за талию; а она чувствовала себя слабой, виноватой, ненавидела все эти комнаты, кровати, кресла, ее мучило от негид дамы. Для нее уже ясно было, что она разлюбила Андрея Андренча или, быть может, не любила его никогда; но как это сказать, кому сказать и для чего, она не понимала и не могла понять, хотя думала об этом все дни, все ночи... Он держал ее за талию, говорил так ласково, скромно, так был счастлив, рассказывая по этой своей квартире; а она видела во всем одну только пошлость, глупую, наивную, невнимосимую пошлость, и его рука, обнимавшая ее талию, казалась ей жесткой и холодной, как обруч. И каждую минуту она готова была убежать, зарыдать, броситься в окно. Андрей Андренч привел ее в ванную и здесь дотронулся до крана, аделанного в стену, и вдруг потекла вода.

— Каково! — сказал он и рассмеялся. — Я велел сделать на чердаке бак на сто ведер, и вот мы с тобой теперь будем иметь воду.

Прошлись по двору, потом вышли на улицу, взяли извозчика. Пыль носилась густыми тучами, и казалось, вот-вот пойдет дождь.

— Тебе не холодно? — спросил Андрей Андренч, щурясь от пыли.

Она промолчала.

— Вчера Саша, ты помнишь, упрекнул меня в том, что я ничего не делаю, — сказал он, помолчав немного. — Что же, он прав! Бесконечно прав! Я ничего не делаю и не могу делать. Дорогая моя, отчего это! Отчего мне так протина даже мысль о том, что я когда-нибудь нацелю на лоб комару и пойду слушать? Отчего мне так не по себе, когда я вижу адвоката, или учителя латинского языка, или члена управы! О, матушка Русь! О, матушка Русь, как еще много ты носишь на себе праздных и бесполезных! Как много на тебе таких, как я, многострадальных!

И то, что он ничего не делал, он обобщал, видел в этом знамение времени.

— Когда женимся, — продолжал он, — то пойдем вместе в деревню, дорогая моя, будем там работать! Мы купим себе небольшой клочок земли с садом, рекой, будем трудиться, наблюдать жизнь... О, как это будет хорошо!

Он снял шляпу, и волосы развевались у него от ветра, а она слушала его и думала: «боже, домой хочу! Боже!» Почти около самого дома они обогнали отца Андрея.

— А вот и отец идет! — обрадовался Андрей Андренч и замахах шляпой. — Люблю я своего батьку, право, — сказал он, расплываясь с извозчиком. — Славный старик. Добрый старик.

Шла Надя в дом сердитая, нездоровая, думая о том, что весь вечер будут гости, что надо занимать их, улыбаться, слушать скрипку, слушать всякий вздор и говорить только о свадьбе. Бабушка, важная, пышная в своем шелковом платье, надменная, какою она всегда казалась при гостях, — сидела у самовара. Вошел отец Андрей со своей хитрой улыбкой.

— Имею удовольствие и благодатное утешение видеть вас в добром здравьи, — сказал он бабушке, и трудно было понять, шутил это он или говорит серьезно.

IV.

Ветер стучал в окна, в крышу; слышался свист, и в печи домовая жалобно и угрюмо напевал свою песенку. Был первый час ночи. В доме все уже легло, но никто не спал, и Надя все чувствовала, что внизу играют на скрипке. Послышался резкий стук, должно быть, сорвалась ставня. Через минуту вошла Нина Ивановна в одной сорочке, со свечой.

— Что это застучало, Надя? — спросила она.

Мать, с волосами, заплетенными в одну косу, с робкой улыбкой, в эту бурную ночь казалась старше, некрасивее, меньше ростом. Наде вспомнилась, как еще недавно она считала свою мать необыкновенной и с гордостью слушала слова, какие она говорила; а теперь никак не могла вспомнить этих слов; все, что приходило на память, было так слабо, не нужно.

В печке раздавалось пение нескольких басов и даже слышалось: «А-ах, бо-о-же мой!»